

ЭЛИЗАБЕТ  
ОСБРИНК

ОТ  
ТОР

Три женщины,  
три города,  
одна/семья

ЖЖЕ  
НИИ



Е

Элизабет Осбринк

## Отторжение

Elisabeth Åsbrink

Övergivenheten

© 2020 Elisabeth Åsbrink

© Сергей Штерн, перевод, 2021

© Андрей Бондаренко, оформление, 2021

© “Фантом Пресс”, издание, 2022

Готовность к бегству — с ней я родилась. Еще в нежном возрасте, даже не понимая, что случилось, уже знала: может случиться вновь.

Говорят, в Гётеборге стоял солнечный апрельский день. Отец увидел меня и сразу дал венгерское имя: Кати. Но, по логике моей семьи, я получила другое, звучащее по-английски имя: Кэтрин, которое потом стало звучать по-французски: Катрин.

Я появилась на свет, и все сразу заулыбались... хотелось бы так думать. Семья моя состояла из отца, матери и двух ее дочерей от первого брака, на десять лет старше меня. Я пицала сутками — от голода: мать при беременности сильно пополнила и решила соблюдать диету. Кончилось тем, что у нее пропало молоко, и меня кормили разными детскими смесями из бутылочки.

Первые шесть лет моей жизни — четырехкомнатная квартира в доме миллионной<sup>[1]</sup> программы в Каллебеке, потом очень похожий дом в Ханинге и, наконец, новенький таунхаус в Хегерстене в Стокгольме. Наши географические перемещения происходили параллельно с карьерой отца: вначале студент-медик, потом врач-ординатор с непоколебимым стремлением стать специалистом. Впрочем, все эти обрывки информации — адреса, этажи, планировка — никакого значения не имеют, они не могут поведать о жизни семьи ровным счетом ничего. Самым главным и определяющим в нашей жизни было одиночество. Одиночество стояло между нами, как тугая стена сжатого воздуха, шаги отдавались пустым мраморным эхом, а сердца колотились так, как могут колотиться только разбитые сердца.

Но я поняла это много позже.

Хотя еще до того, как одиночество начало расти, до того, как оно, словно медленно раздувающийся пузырь, стало занимать все больше места, прижимать нас к стенам, — задолго, задолго до этого я начала понимать, из чего оно состоит.

Отторжение изнутри.

Именно так я хотела назвать книгу: “Одиночество”. Это вымысел, а потому все, что тут сказано, — правда. Можно дать книге

подзаголовок “Семейная история” или, скажем, “Документальная проза”. А можно назвать еще проще: *Книга*. Намерение у меня было вот какое: раз и навсегда назвать по имени призрак, преследующий меня всю жизнь, сколько я себя помню. Дать ему определение. Кто-то из философов сказал: назвать — значит, понять. Далекое не сразу сообразила: “Одиночество” не подходит. Одиночество — симптом, а не сама болезнь. Симптом и следствие. Поэтому название книги пришлось изменить.

Центром экспансии моего одиночества была моя мама, Салли. Я ее обожала. И отец ее обожал. И она заслуживала обожания — с ее переменчивым, тут же отражающимся на лице настроением, с ее прекрасными серо-зелеными глазами и темными волосами. Она читала все подряд — газеты, книги, обсуждала политические дразги, обожала оперу, без всякого стеснения хохотала, если что-то ей показалось смешным. Она входила в комнату и сразу становилась центром внимания. Мои старшие сестры, а уж я тем более, всегда были в ее тени. Но это, думаю, нормально.

Одиночество матери было хорошо замаскировано. На первый взгляд — какое там одиночество, наоборот. Блестящая светская женщина, преподавательница английского, полно знакомых, которые, как мне казалось, все свободное время проводят на вечеринках и на танцах. И только мы, те, кто с ней жил, кто знал ее близко, понимали: весь этот светский лоск — всего лишь скорлупа, оболочка, тонкая, как слой карминного лака на ее ногтях. А под этой оболочкой — готовые в любую минуту прорваться наружу тревога и даже злость. Тревога — о чем? Злость — на кого?

Понять собственное одиночество... Сначала надо понять одиночество матери.

Одиночество матери... а как быть с одиночеством ее матери, моей бабушки Риты?

А кто был мой дед, которого я никогда не видела?

Постоянно возвращающиеся картины детства. Думаю, именно такие картинки и называются детской памятью. Мама испекла на

десерт *кух*<sup>[2]</sup> с порошковым ванильным соусом. Порошок этот с одуряюще сладким запахом продавался в больших жестяных банках. Я очень любила ванильный соус, но сочетание цветов на банке – ярко-синий, красный и пронзительно-желтый – вызывало у меня страх и отвращение.

Ванильный порошок взбивают мутовкой в кипящем молоке, потом дают остыть и подают со шматком пенки толщиной не меньше сантиметра. Пенка лежит на сливочно-желтом соусе, как сургучная печать, – она считается особым лакомством. И тут же начинается – всем хочется получить эту пенку, маме, сестрам и мне. Но справедливость прежде всего. Кто-то идет в кухню за ножом. Дрожащую, как желе, ванильную пенку разрезают на равные части. Сестры начинают обвинять друг друга и спорить – кому больше досталось. Крики, слезы... Мама сердится, повышает голос. Банка из-под ванильного порошка с ее нелепо-кричащей, агрессивной раскраской тоже выглядит как вспышка ярости. Только когда мне исполнилось десять лет, я внезапно осознала: терпеть не могу молочную пенку.

Книгу я назвала “Отторжение”.

Миры рушатся, целостность распадается... какие, ей-богу, неопределенные утверждения. Обобщены настолько, что смысл ускользает. Я это сознаю. Писатель должен быть точным. И все же я выбираю эти банальные максимы как исходный пункт. Именно так: миры рушатся, целостность распадается. Причина одна: катастрофические формулы отражают истину. Будни взрываются, как кластерная бомба, а осколки летят через поколения. Для них нет препятствий. Крохотный городок в Испании, перенаселенный город в Османской империи, съемная квартира в Будапеште, тихое предместье Лондона, семья из пяти человек и кошки в Стокгольме. В конце концов эти острые вспышки проложили дорогу и ко мне – и я родилась с готовностью к побегу.

Оттого-то и пишу.

# Рита

*Лондон, декабрь 1949 года*

Декабрьским утром, а именно 1 декабря 1949 года, Рита поняла: она ошиблась. И ей это не понравилось. Мало того: все изменилось, хотя ничто не стало другим. И это ей не понравилось еще больше.

Даже вставать не хотела, но пришлось: ночь ее предала. Теплый воздух, мазок рассвета в щелке портьеры. Если не открывать глаза, можно попробовать удержать дремоту. Важно, чтобы ночь осталась с ней, внутри. Ей хотелось быть рабыней ночи — и владеть ею, как грудной ребенок владеет матерью. Именно владеет, хотя жизнь его зависит только от нее. Дитя — главный и единственный собственник матери. Рите тоже захотелось стать грудным ребенком матери-ночи, спрятаться под ее защиту, погрузиться и исчезнуть — но ничего не вышло. Как и прошлым утром, и позапрошлым. Нет в мире такой силы, которая могла бы удержать ночь. Рита прекрасно это понимала, хотя так и продолжала лежать с закрытыми глазами в своей постели, в домике на Грэнж-парк-авеню, 37, на северной окраине Лондона.

Проехала машина молочника, и в полусне Рита привычно улыбнулась уютному звяканию бутылок.

Сколько времени уходит на пробуждение? Может, полсекунды, может, две или три, но ощущается как многокилометровый подъем. Гаснет калейдоскоп снов. Яркий бисер, формирующий предательски симметричные картины, не выдерживает конкуренции с серой монотонностью наступающего утра. Острые цветные стеклышки блекнут, озадаченные сменой освещения, оплывают, растворяются, уступают место отсчету времени и утренней жизни. Пространство ночи совсем не похоже на пространство дня. В нем нет логики, чьи-то фигуры сменяют друг друга, высовываются из крипт прожитых лет, корчат рожи, подают абсурдные и многозначительные реплики и устремляются в абсурдную и многозначительную неизвестность.

Во сне Рита часто стоит у окна и смотрит на пшеничное поле. Или на яблони в саду, обремененные тяжелыми, стремящимися к совершенству плодами. Изобилие за окном почему-то утешает, хотя кажется недоступным... а может, именно поэтому. Иногда ее навещает утонувший брат Эмиль, будто бедняга не знает, что уже сорок лет как мертв. Он выглядит очень грустным, даже когда улыбается. И она улыбается, тоже грустно. Брат и сестра. Стоят друг напротив друга и невесело улыбаются.

Риту завораживает необъяснимость ночи. Она даже среди дня иногда тоскует по густым, светло-зеленым, еще не успевшим налиться желтизной зрелости посевам, а когда ложится, с нетерпением ждет этого сна, надеется услышать ласковый шепоток пшеничного поля.

Глаза все еще закрыты, но она уже знает: муж лежит рядом. По дыханию — он еще спит. Днем люди так не дышат. Долгий спокойный вдох, короткий облегченный выдох. Сны его совсем другие, населены другими образами, инструментованы другими звуками и освещены другим солнцем. Он лежит в двух дециметрах от нее, но расстояние это уже давно неизмеримо. Не в сантиметрах или метрах дело. Оно ни мало, ни велико, это расстояние. Именно неизмеримо — его невозможно измерить. Иногда она думает: мы настолько близко, что выпадаем из поля зрения друг друга.

Рита не огорчается — напротив, это ее устраивает.

Неохотно разжимает кулаки, и ночь ускользает. Садится, надевает очки. И первым делом убеждается, что мир точно такой, каким она оставила его накануне вечером. Трюмо в углу, щетка для волос в ящичке из прозрачного стекла, где она хранит еще и ключ от настенных часов. Там же лежит одна-единственная притворяющаяся розовой жемчужина из порванного ожерелья. На крышке ящичка рельефное изображение скачущей лошади, а под лошадкой углубление, словно специально сделанное — можно пристроить сигарету, пока причесываешься. Платяной шкаф у одной стены, комод с шестью выдвигаемыми ящиками — у другой. Ночные тумбочки

по обе стороны кровати, вода в стаканах выпита ровно наполовину. Это всегда ее удивляло: и ее стакан, и его – ровно наполовину.

Утро как утро, такое же, как вчера. Стандартное утро. Обычно это ее вполне устраивает. Стандартное утро обещает стандартный, устойчивый день.

Сунула ноги в войлочные тапки, накинула халат, подошла к окну и отодвинула тяжелую, подбитую шелком гардину. Тучи лежат чуть не на земле, отчего контуры домов красного кирпича кажутся нечеткими, будто запылились. Неплохо бы протереть скучный пейзаж влажной тряпкой. А так – всё как всегда. Дом напротив даже в тумане выглядит заносчиво – каменная лестница, снежно-белые желоба и водосточные трубы. Хозяин накопил наконец денег на машину и теперь паркует сверкающий “моррис майнор” у самой калитки: пусть никто не сомневается, кому принадлежит это чудо техники. Он и сейчас там стоит, но не сверкает, лак покрыт матовой пылью измороси.

Напомним: декабрь 1949 года, Рита стоит у окна спальни на втором этаже и смотрит на разделенные узкой полоской кустарника дома, каждый на две семьи. В тумане граница между пятнами зелени и терракотой кирпича размыта, как на неумелой акварели.

Нет. Ошиблась. Новое утро хоть и выглядит как вчерашнее, позавчерашнее, позапозавчерашнее, но это только кажется.

“Теперь ты довольна?” – спросил он по пути в ресторан “Старая вишня”.

Рита понимала: он не хочет затевать очередную ссору. Судорога злости свела рот, и она не смогла ответить. Молча кивнула – не стоит портить день. Все же сделали, что хотели. Кивнула, но в глаза не посмотрела.

Но все же, все же... Время было заказано, он позвонил брату, сказал, чтобы в конторе его не ждали. Оделись парадно и проехали три остановки до Энфилда на автобусе.

Никак не удавалось осознать. Даже не осознать, а переварить. И вовсе не потому, что, как часто говорят, *этот день был самым*



счастливым днем жизни, и не потому, что произошло такое фантастически значительное событие. Наоборот: *значительное событие* оказалось банальным и прозаическим, наименее драматичным из всего, что может произойти с двумя людьми. Им вручили конверт со свидетельством, скрепленным печатью местного муниципалитета. Плотный конверт так и лежит в прихожей поверх пачки неоплаченных счетов. Они его даже не распечатали.

“А ты довольна?” – задала Рита себе тот же вопрос, вглядываясь в постоянно меняющиеся очертания цветные пятна. Если прищуриться, смесь кирпично-красного, зимней зелени и клочьев опустившихся на землю облаков похожа на палитру художника.

– Ты довольна? – еще раз спросила она, на этот раз вслух. Он наверняка все еще спит, а спит он крепко.

Туман внезапно и быстро рассеялся, прямо на глазах. Облакам надоело возиться с пепельным ластиком, стирать грубые и угловатые черты жизни – снялись с насиженного места и скрылись в небе. А может, и не в небе, а в каком-то неизвестном тайнике, где обычно прячутся, дожидаясь своего часа, облака.

Нельзя сказать, чтобы Рита так уж предвкушала новый день, но он-то все равно наступил. Она вовсе не потирала руки, вспоминая набор ждущих ее домашних дел, но их-то все равно придется переделать в определенном порядке. С этим Рита тоже давно смирилась. Собственно, это однообразие и внушало ей спокойную радость. Радость стоящего на перроне пассажира, уверенного: поезд придет вовремя. Конечно, радость. Не брызжущая пиротехникой эйфория, не ливень конфетти – “война-наконец-закончилась”, – а спокойное, управляемое, но все же удивление – радостное удивление надежности миропорядка. Нельзя забывать: миропорядок надежен и устойчив. Жизнь много раз давала поводы для сомнений, и именно поэтому ей было радостно. Шампанское и торты с глазурью необязательны. И слава богу.

С дуба напротив, медленно поворачиваясь в воздухе, упало несколько листьев. Рита проследила глазами за полетом. То, что

случилось вчера, должно остаться тайной. Такое требование предъявляет стыд. И он – пусть поклянется, что никогда и нигде не проронит ни слова. Ни один человек не должен знать, потому что станут пожимать плечами: *решились наконец-то, интересно, что они раньше думали.*

Даже свадьба может быть не такой, как ждешь.

Рита спустилась по лестнице, прислушиваясь к знакомому поскрипыванию ступенек под винно-красной дорожкой, и прошла в кухню. Кот уже сидит наизготовку у двери черного хода и укоризненно смотрит на хозяйку зелеными неподвижными глазами. Она приоткрыла дверь – кот облегченно мяукнул, промелькнул, как сполох рыжего пламени, просочился в щель и исчез.

Извини, проспала немного.

Закурила сигарету, вышла из кухни и пошла взять газеты и молоко. Входную дверь оставила открытой. Волна холодного воздуха обдала лицо колючими брызгами и хлынула в дом, разбавляя и освежая застоявшийся, отяжелевший от дыхания трех спящих людей воздух. Постояла немного. Чистое, прозрачно светлеющее небо изготовилось исполнять главное, а может, и единственное условие своего существования: дать птицам возможность полета.

Рита окинула глазом соседские участки. Искусственные цветы в больших глиняных вазонах, недавно вошедшие в моду разноцветные садовые гномики, тщательно сформированные, стриженные шары и пирамиды самшита. Посмотрела на свой палисадник. Лепестки гортензий стали тонкими, как бумага, но, вопреки зиме, опадать не хотели. Ни у кого нет таких гортензий, как у нее. Особенно голубые – она подкармливает их алюминиевыми квасцами. Да, еще месяц назад они были голубыми. Были и лиловые, и темно-, и светло-розовые, а теперь все поблекли, как отголоски сна. Летом разрастаются так, что оставляют белые царапины на руках прохожих. Иногда жалуется кто-то из соседей. Рита

выслушивает, кивает, но у нее даже мысли не возникает подойти к цветам с секатором.

Она упорно пытается отыскать хоть что-то, что отличало бы это знаменательное утро от других, – и не находит. Слизняки на низкой каменной ограде, желтая роза у калитки, чудом сохранившая несколько нераспустившихся бутонов. В дождевой бочке, раскинув прозрачные крылышки, дрейфуют узкие штрихи дохлых жучков-водомеров. Почему-то наводят на мысль о смертности всего живого.

*И я тоже смертна.*

Но я же богата! Вот мои дубы замерли в ожидании лета, молоко оставляет белые следы на стекле, в кустах пересвистываются мои горихвостики. У меня в саду растут пышные гортензии. *Der Herr ist mein Hird, mir wird nichts mangeln...*<sup>[3]</sup> У меня есть все, кроме чего-то... сама не знаю чего.

Проследила, как поднимаются и тают колеблющиеся восьмерки сигаретного дыма. А этот мрак в душе... может, это тоже счастье? На мгновение Рита решила – почему бы нет? Никто еще не составил реестр признаков счастья. Но тут же отвергла такое предположение – оно показалось ей неправильным и даже оскорбительным.

Она прислушалась. Теперь и он встал. Муж. Забулькала вода в сливной трубе. Рита представила, как он заполняет умывальник холодной водой, потом открывает кран с горячей и добавляет ровно столько же, отсчитывая вслух секунды. Моется мочалкой, с головы до ног. Ритуал, обычай... обычность обычаев, будничность будней. Уже двадцать лет она слышит одну и ту же фугу утренних звуков.

Сигарета погасла. Надо бы заняться обычными утренними делами, но она задержалась у открытой двери.

Видела бы меня мать... Видела бы мою калитку, мой сад, мою наружную дверь, мою прихожую с телефонным столиком, мою гостиную, мои ковровые покрытия, мои три спальни и ванную комнату. Видела бы она электрический камин с притворяющимися настоящими тлеющими головешками, видела бы пианино, на

котором занимаются девочки. Видела бы вогнутое зеркало в позолоченной раме в прихожей — мир в нем кажется больше и круглее, чем в действительности.

Увидела бы — и сразу поняла: ничто не напрасно. Грэнж-парк-авеню, 37, — скольким пришлось пожертвовать, сколько соблазнов преодолеть. Конечный пункт всех желаний и стремлений. А вот это странно. Стремления конечного пункта не имеют. Неизвестно, как у других, но у нее точно не имеют. Сколько она в себе копалась, пока не поняла: *я состою из стремлений и желаний*. Вот и сейчас. Скрипнуло зубами чувство долга: *надо бы пойти приготовить завтрак...* Успею. Взяла веерные грабли, начала собирать сухие листья под гортензиями и улыбнулась — пять минут, не больше. Нарушение ритуала, но желание взяло верх. Долг — основа ее существования, что ж... сегодня она показала ему нос. Почему бы не украсть чуть-чуть у зимнего рассвета, почему бы не побыть пять минут Робин Гудом? К тому же ей очень нравится податливость земли, шелест листьев, быстро растущий влажный ворох — тело занято механической, монотонной работой, а мысли текут легко и свободно.

Мать давно умерла, а Рита думает о ней с возрастающей с каждым годом нежностью. Хотя прекрасно знает: мать ни за что не смирилась бы с ее тайной, *с ее позором*. Ты — настоящая дочь своего отца, сказала бы Эмилия презрительно, а в ее устах это был самый суровый приговор; никто из ее восьми детей на отца похож не был. Даже теперь Рита слышит ее упреки, сжимает зубы и иногда еле удерживает стон стыда — словно бы и не похоронила этот стыд много лет назад. Похоронила и годами забрасывала могилу. В ушах по-прежнему голос матери, ее сильный немецкий акцент, особенно заметный в минуты раздражения. И слова, внушительные и неотвязные, как звон церковных колоколов: грех рожден из зла, а последствия страшны — вечная разлука с Господом.

*Все из-за твоего отца.*

Листья собраны. Осталось, конечно, несколько штук – не ползать же за ними на коленях. Хорошо бы постоять еще пару минут. Послушать, как на подстриженных дубах вдоль тротуара пересвистываются снегири, самой превратиться в дерево, стать такой же неподвижной и бессловесной, выждать, пока стихнут упреки матери.

Но уже нет времени. Приготовить чай, поджарить хлеб, собрать Ивонн в школу.

*Да посмотри же, мама, посмотри вокруг!*

*Я здесь живу. Это моя жизнь. Мой дом ничем не отличается от других, ничто не отличает меня от других женщин, которые именно сейчас, в халатах и войлочных тапках, ставят чайники и готовят завтрак для семьи. У меня есть рыжий кот, он сладко потягивается, пока я мою посуду. Это не чьи-то, а мои руки открывают дверцу буфета, достают жестяную банку с мармеладом и режут хлеб – тонко, чтобы хватило на неделю. Это моя солнечно-желтая кухня. Скоро спустится по лестнице мой муж, а моя дочь, как всегда, до последнего валяется в постели, и мне придется ее будить, вытащить из-под ног бутылку с водой – с вечера была теплой, а теперь холодная и скользкая, как ящерица. Но Ивонн все равно не проснется, пока я не стяну с нее одеяло. Тогда она замерзнет и откроет глаза.*

*Это моя жизнь.*

Так все и происходит. Ее муж спускается по лестнице, первым делом хватается за “Ньюз Кроникл” и погружается в чтение. Пьет свой чай, а Рита соскребает с хлеба подгоревшие кусочки. Черные крошки сыплются в раковину. Диктор по радио бубнит новости. Она поднимается в спальню будить дочь. *Все как и быть должно.* Такова и есть ее жизнь – ежедневные ритуалы, раз и навсегда заведенный порядок. Небрежно утепленный, но добротный дом в Лондоне – ее царство.

Тогда почему же ее грызут сомнения?

Через час дом опустел. Она напоила Ивонн чаем и проводила в школу. А он, накануне обретенный муж, позавтракал, хмыкнул несколько раз, пока читал, — тоже своего рода ритуал — надел шляпу, чмокнул ее в щеку, закурил и пошел к метро.

*Увидимся вечером, дорогая.*

Что ж... его ждут двенадцать часов работы в городе, ее — ровно столько же, двенадцать часов, работы дома. Работы и одиночества.

Щели между каменными плитками у крыльца заросли травой. Рита принесла спицу и начала выковыривать одуванчики, стараясь подцепить корни. Эта работа ей нравится — не надо ни о чем думать.

Красиво поседевший мистер Харрис вышел на первую утреннюю прогулку со своим белым терьером. *Good morning.* Прокатил на велосипеде незнакомец с портфелем на багажнике. *Good morning.* А вот идет миссис Брукс, голова повязана шалью. Глуповата эта миссис Брукс, ничего умного Рита пока от нее не слышала. К тому же ее дочка обозвала Ивонн толстухой.

Кивнула в ответ на приветствие и пошла обрезать засохшие листья с розового куста. Миссис Брукс явно хотела поговорить о погоде или, что еще вероятнее, пожаловаться на скудость рациона, но Рита сделала вид, что не заметила. Не сегодня. Миссис Брукс замедлила было шаг, изготовилась перейти улицу, но поняла: Рита не расположена поболтать у калитки. Почти незаметно изменила направление и двинулась дальше с застывшей улыбкой, преувеличенно бодро помахивая хозяйственной сумкой, будто спешит куда-то.

*Good riddance<sup>[4]</sup>. Твоя улыбочка похожа на пенку на кипяченом молоке.*

Обычно в это время она сидит в кухне и размышляет над списком покупок. Но сегодня жизнь идет медленно и неритмично. Даже шаги другие, будто она, жизнь, избегает наступать на вчерашние и позавчерашние следы, будто старается освободиться от свинцового облака земного притяжения.

Определенно — этот день не такой, как другие.

Опять взяла грабли, собрала весь мусор в кучу, затолкала в корзину и отнесла на задний двор. Внезапно дохнул знобкий зимний ветерок, и опять все стихло. Деревья не шелохнутся, словно выжидают. А интересно, знают ли листья, что вот-вот упадут?

Решила, не откладывая, сжечь мусор. Сама мысль о живом пламени словно сняла часть груза с души. Смотреть, как поднимаются и медленно, будто снег, опускаются мучнистые мотыльки пепла, как съеживаются и обугливаются листья, любоваться на малиновый скелет время от времени вспыхивающих сучьев, вдыхать дымок, придающий сладкую печаль безжизненному декабрьскому воздуху... но сначала надо разжечь огонь, а это не так просто при такой влажности. Выбрала самые сухие сучочки, принесла обрывок старой “Ньюз Кроникл”. Не сразу, со второй или третьей спички попытка удастся – и первым делом высоко поднимается столб густого то ли дыма, то ли пара.

*Привет высшим силам! Никаких посредников, общение куда недвусмысленнее воскресной проповеди. Только я, сигнальный дым и строгий Господь Бог, которому страстно молилась мать.*

Огонь почему-то напомнил про струящуюся в ее сосудах кровь. Как она бежит, подогретая неведомой силой до тридцати семи градусов, как стремится в легкие, как жадно всасывает смешанный с горьковатым дымом кислород. Внезапно, как вспышка молнии, пришло ощущение жизни – жизни, которую обычно не замечаешь. Даже не ощущение, а радость. Радость жизни. Вот она, Рита, – а вот прохладный декабрьский день, и вместе они составляют единое целое. Это она, Рита, стоит в тяжелых сапогах посреди двора, и ничто не может разлучить ее с блеклым зимним небом. Конечно, скоро все изменится, небо потемнеет, она состарится... И она, и декабрь станут чем-то другим – но не сейчас. Еще не время. А сейчас горит, потрескивая, костер, кровь струится по жилам, летит к небесам пахнувшая дымом благодарность Создателю. И пусть снегири, и улитки, и прицепившийся к ограде куст ежевики, и пробирающиеся из-под земли заморозки, и беседующие с облаками

деревья, и спящие в подземных убежищах двухвостки и шмелиные матки – пусть всё, из чего состоит декабрьский день, знает: она есть. Она, Рита Гертруда, существует.

Листьев немного, сгорели очень быстро. Затоптала тлеющую золу и для надежности залила дождевой водой из бочки. Послушала змеиное шипение и вернулась в дом. В прихожей сняла сапоги, прошла в кухню, налила четверть стакана “Знаменитой куропатки”<sup>[5]</sup>, закурила и присела к столу. Может, если следовать ритуалу, утро вернется в привычное русло, станет таким же, как всегда? Взяла газету, проглядела заголовки (запрещен частный импорт сахара, желе и сухофруктов из Ирландии). Реклама коричневого соуса “Эйч Пи” (придает незабываемый вкус любому блюду). Прочитала ироническую заметку, как четверо мужчин в студии Би-би-си обсуждали, какой должна быть идеальная женщина. (“Откуда им знать? – пишет насмешник. – Ни одну женщину в студию не пригласили.”) Но, несмотря на сарказм, автор статьи согласен: идеальная женщина должна проявлять как можно больше эмпатии (любой мужчина нуждается в сочувствии и поддержке), должна обладать добрым и ровным нравом (кому нужна жена, у которой притворная нежность сочетается со сварливым характером и припадками злости?).

Как про кошку – должна обладать веселым нравом и превосходно ловить мышей.

Рита отложила газету – все равно не удастся сосредоточиться.

Она думала о Видале, своем вновь обретенном муже.

Двадцать лет. Двадцать лет он не решался пойти на этот шаг, и двадцать лет позорная тайна мучила ее, как болезнь. Хроническое воспаление злости. Не проходило часа, чтобы она не чувствовала эту злость. Каждое утро, в будни и выходные, вдвоем и в одиночестве. Она тщательно оберегала их тайну, никому и никогда не давала повода подозревать, какой ком колючей проволоки растет в душе. Заговорить на эту тему – значит признать свое унижение. Даже теперь, когда уже нет повода чувствовать себя униженной. Повод



исчез, а обида осталась. А может, и нет — сразу трудно понять, осталась обида или нет. Скорее всего, глупости и сантименты. Всегда рассудительная, обеими ногами на земле, никогда не принимающая желаемое за действительное — с какого перепугу она решила, что после регистрации все изменится? Исчезнет стыд, испарится комплекс неполноценности... Но стыдный секрет остался. Вчерашняя процедура никакого облегчения не принесла. Она ожидала, что на этом все, точка, — ан нет. Даже рассказать нельзя, сразу поймут — *ага, значит, раньше они просто сожительствовали! Ну и ну...*

Нет, злость не утихла.

Пепел с сигареты упал на стол. Догорела сама по себе. Она забыла курить, забыла стряхнуть пепел, забыла, что пора идти за покупками.

*Что со мной? Будь что будет, все равно я ничего не могу изменить.*

Рита не стала просматривать шкафы, искать, что надо купить. Список покупок не составила. Не хотела даже думать про грязное белье — его надо сортировать, потом стирать на доске, полоскать раз за разом, потом вывешивать, цепляя прищепки к бельевой веревке. А потом стоять у гладильной доски. Она вообще-то любила гладить, ей нравилось следить за превращением мятой тряпки в безупречно гладкую, приятную на ощупь белоснежную простыню. Но не сейчас. Сейчас ей хотелось только одного — вернуться в сад, в покой тихого декабрьского дня.

При каждой британской переписи населения Рита получала новую версию имени. Как-то власти назвали ее Фредерикой. В другой раз на свет появилась Фрида, а потом испорченный телефончик бюрократии превратил ее в Риду. Почти во всех документах она так и осталась Ридой, хотя правильное имя Рита. Рита Гертруда Блиц. Возможно, волонтер при переписи так услышал: вместо *Rita* — *Фрида, Фредерика*.

Родилась 6 октября 1900 года, но и это неточно. Вернее, 6 октября — это точно, а вот какой год, 1900-й или 1901-й, есть сомнения. В разных документах написано по-разному, и эта путаница преследовала ее всю жизнь. Хотя после смерти матери,

разбираясь с ее скромным наследством, Рита нашла ветхую пожелтевшую бумажку, а на ней фиолетовыми чернилами с золотым отливом было написано: родилась в 1899 году. Это означало вот что: вчерашнее обручение в присутствии двух свидетелей в регистрационном бюро в Энфилде состоялось почти два месяца спустя после ее пятидесятилетия. Невеста – загляденье. Особенно хорош грубый рубец на пузе после кесарева, да и жених под стать – скоро шестьдесят. И что?

А вот что: опять сороки набросали веток на дорожку у калитки.

*Теперь ты довольна?*

Ей даже думать не хотелось про вчерашнюю процедуру. Брак зарегистрирован, скреплен подписями свидетелей – все именно так, как она и представляла... но почему же так хочется стереть этот день из памяти? Его не должно быть, вчерашнего дня, подумала она и с яростью всадила грабли так, что выдрала несколько стеблей гусиного лука. Вот так надо поступить и с этим днем. Вычеркнуть среду 30 ноября 1949 года из календаря. Или не замечать. Среди всех трехсот шестидесяти пяти пусть будет один не-день. Пауза между ударами сердца. Трудно, что ли, году сморгнуть, перевести дыхание – и пусть катится дальше. Столько дней, триста шестьдесят пять! Никто и не заметит пропажу.

*Никогда не будет она отмечать этот день, проживи они вместе хоть сто лет.*

Рита прислонила грабли к стене и пошла в прихожую – как была, не сняв грязные садовые башмаки. Взяла с телефонного столика календарик, где отмечала посещения врача и крайние сроки оплаты счетов. Ноябрь представлен набором квадратиков, каждый обведен жирной красной рамкой. Достала из кармана куртки секатор и ткнула в квадрат с цифрой “30” – на месте вчерашнего дня появилась безобразная дырка. Так не годится. Принесла ножницы и, чуть не высунув язык, аккуратно вырезала клетку. В голову пришла дурацкая мысль: ночь. Линия разреза приходится на ночь с двадцать девятого на тридцатое.

Положила вырезанный квадратик на ладонь, вышла в сад и дождалась, когда прорвавшийся сквозь холодный скелет дуба порыв ветра подхватит бумажный обрывок и унесет.

Некоторое время следила, как день ее бракосочетания, не находя пристанища, порхает в воздухе.

Потом вернулась в дом.

Скоро позвонит Мейбл. Мейбл на работе, но в одиннадцать у них перекур, и за последние двадцать лет не было дня, чтобы она не позвонила. Поговорить – просто так, ни о чем. Долгие годы жизни сестры делили ночи и дни, делили постель, делили хлеб и голод. Хотя одна сестра – домохозяйка в лондонском пригороде, а другая – телефонистка на коммутаторе в центре города, никаких причин рвать кровную связь не было, нет и, скорее всего, не будет. Правда, иногда Рита недоумевает – как Мейбл не устает от телефона? Ведь она ничем другим не занимается. Говорит, говорит, соединяет, переключает, перетыкает штекеры, опять говорит – и так дни напролет. А иногда – не особенно, впрочем, часто – Рите хочется поменяться с Мейбл. Пусть не у нее, а у Мейбл будет все, о чем должна мечтать нормальная женщина. Муж – дом – дети. А она, Рита, пойдет работать. Незаметная, более того – невидимая женщина в круговороте прохожих, с утра до ночи заполняющих улицы Лондона. Не то чтобы Рите не хватало грязи и суеты огромного города – не в этом дело. Ей не хватало работы. Бухгалтерское дело очень нравилось – завораживал порядок, тщательно подобранные и сведенные воедино цифры, самоочевидность сложения и вычитания, прямые колонки доходов и расходов, остро заточенные карандаши и не подлежащие обсуждению позиции, выделенные красными чернилами. Не хватало и перерывов, когда можно посплетничать с другими девушками.

Нет, с Мейбл она не хотела бы поменяться. Мейбл работает на одном из самых больших коммутаторов. Долгие дни под жужжание сотен, если не тысяч телефонных разговоров, миллионов слов, которые превращаются в электрические импульсы, а на другом

конце загадочным образом воскресают и опять становятся словами. Да, конечно, Мейбл находится в самом сердце набирающей силу технической революции – но это не для Риты. Телефонный разговор нельзя увидеть, нельзя пощупать, нельзя оценить его логику и красоту. А сестра работает телефонисткой ни много ни мало двадцать лет – и не устаёт восхищаться своей ролью волшебницы, мановением руки соединяющей голоса, деревни, города и части света.

Всегда была восторженной. Куда ни ткни – ахи и охи.

Так и есть. Не успели часы в гостиной пробить одиннадцать, как раздался звонок. Рита подняла трубку, прикидывая, что ответить: Мейбл наверняка спросит, как прошёл вчерашний день. Нечего прикидывать – прошёл и прошёл. Ничего особенного, день как день. Обычная среда. Но Мейбл задала совсем другой вопрос:

– А что там у Салли? Уже две недели ничего не слышно. Там же все время идет снег, я читала. Снег и снег. У нее есть теплое пальто? А ботинки на меху? И вообще – почему ей взбрела в голову Швеция?

На этот вопрос у Риты ответа не было. Она и сама плохо понимала старшую дочь. Единственное, что знала твердо, – повлиять на ее решения невозможно. Вулкан своеволия. Теперь решила оставить Лондон: нашла работу преподавательницы английского в Швеции. Почему из всех стран именно Швеция – неизвестно. Но на прямой вопрос Мейбл ринулась защищать дочь:

– Хочет мир посмотреть. Мы и сами любили путешествовать, дай только возможность. Ты же помнишь.

– Только путешествия по Германии. И только пешеходные маршруты. Чтобы исчезнуть на несколько месяцев – такого у нас не было.

Вообще-то с отъездом взрослой дочери в доме стало спокойней. Никаких яростных споров за воскресным ланчем, никаких требований срочно одолжить деньги, никто не вскакивает из-за стола и не убегает, на прощанье хлопнув дверью так, что стены трясутся. Салли никогда не могла прийти к соглашению с отцом.

Вопрос, когда и как она собирается возвратить занятые деньги, приводил ее в ярость, а уж спрашивать, на что эти деньги потрачены, – и вовсе табу. Нельзя сказать, чтобы Рита не любила Салли, – если бы не любила, не стала бы терпеть мучительные дискуссии в сизой от табачного дыма кухне. Перечень совершенных матерью ошибок и унижительных бестактностей. *Ты меня никогда не любила.* А главное – досада, а иной раз и отчаяние: нужные и убедительные слова не удалось найти ни разу. Конечно, дом с отъездом Салли опустел, зато воцарились мир и покой.

– Мне ее не хватает, – заключила Мейбл. – Думаю, тебе тоже.

– Она никогда не обвиняла тебя в скупости и бесчувственности.

– И знаешь почему? Потому что я никогда не была ни скупой, ни бесчувственной.

Посмеялись.

– Послушай... а кто ее выманил из Лондона? Тот швед?

– Думаешь, я знаю? Она ничего не говорила.

– Еще бы! Ты ее мать, она же не совсем дурочка, чтобы делиться с матерью. А он симпатичный. И такой... долговязый. Надеюсь, она влюблена.

– Мейбл!

– Да, да... Тебе никогда не удавалось держать ее на поводке. А Ивонн? Что там по ночам? По-прежнему?

– Вчера нашла у нее за книгами ломоть хлеба.

– Опять?

– Опять.

– Повесь висячий замок на буфет. И мне пора вешать, только не замок, а трубку. Придешь в субботу? Замечательная пьеса. Оскар Уайльд. Я играю леди Брэкнелл, у нее самые остроумные реплики. Вот послушай: *“Тридцать пять – это возраст расцвета. В высшем обществе полно женщин, которые десятилетиями, а главное, добровольно остаются тридцатипятилетними”*.

Они опять засмеялись. Одна в прихожей таунхауса на две семьи в Винчмор-Хилл, другая в огромном, жужжащем как улей зале